

Опубликовано в журнале:

[«Вопросы литературы» 2009, №3](#)

Гвидо КАРПИ

Гоголь - экономист. Второй том «Мертвых душ»

В некоторых моих недавних исследованиях^[1] я попытался суммарно определить “двойную цепь” развития идеологических и поэтических форм, сложившихся в России в первой половине XIX века, - их “изоморфность”, по Пьеру Бурдьё ^[2], - в тесной связи с экономической деградацией главного носителя письменной культуры - среднепоместного дворянства. Я пришел к следующему выводу: если у Пушкина кризис поместного дворянства еще мог даваться через восприятие проблематического, но все еще полномасштабного героя (Евгений Онегин, Гринев, Дубровский, Евгений “Медного всадника”, наконец - автоописания самого Пушкина в его поздней лирике), то уже у Гоголя социальная маргинализация мелкого провинциального дворянства выливается в антропологический упадок. Если Муромский в пушкинской “Барышне-крестьянке” закладывает имение, лелея тщетные, но сами по себе вполне почетные мечты об образе жизни на английский манер, то гоголевский Петух совершает аналогичный - гибельный для него - заклад имения лишь для того, чтобы удовлетворить собственные гипертрофические и гротескные гастрономические инстинкты: “жратв-яда” вместо Илиады, по определению А. Белого ^[3]. Удрученный кризисом собственного сословия, Пушкин начал сдвигать свой социальный идеал назад в прошлое, в своего рода “золотой век” поместного дворянства, относимый примерно к елизаветинскому царствованию (1740-1760); Гоголь смещает “идеальный” хронотоп еще глубже в историю (к временам казаков Тараса Бульбы, героев Гомера) или в недостижимое “далёко” (римская чернь, испанский плебс, кавказские черкесы, кочевые калмыки с нижней Волги), окончательно лишая его всякой конкретности. Например, то, что делает наследие Гомера актуальным и целительным для разрозненного и судорожного современного мира - “это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благодать и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами [...] в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей” ^[4].

Основные характеристики этого социального идеала - патриархальная архаика, фатализм, отсутствие писаных законов и какой-либо формальной системы регулирования общества, кроме родственных отношений. Разумеется, “далеко” имеет абсолютно условный и компенсаторный характер, представляя из себя образ современной реальности наизнанку, так, как ее воспринимает Гоголь: его общественный идеал - это конденсат всего того, чем *не* является современное ему общество. Измельчание личности, кастрация индивидуума, падение целых социальных групп до полуживотного состояния, фантазмагорическая и репрессивная динамика властных структур во всех ее проявлениях, вечное чувство настойчивого присутствия демонических сил, распад языка, превращение

его в алогичный самодовлеющий сказ, бегство в безумие или в психотропные средства как единственный выход из механической и обезображивающей искусственной реальности... По правде говоря, читая Гоголя, я никогда не понимал, что в его сочинениях смешного: никогда еще отказ “справа” от современности не наделял свою полемическую цель столь многими негативными коннотациями.

Тотальный отказ от современности характеризует идеологию Гоголя, и регрессия к архаической утопии все теснее сочетается с неприятием развитых форм экономики и с апологией крепостного права. В “Выбранных местах из переписки с друзьями” крепостному праву - в его русском изводе, более близком к системе рабовладения, нежели феодализму, - приписывается то небольшое, что осталось хорошего в реальности: “Вст перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками” (6, 89. Разрядка моя. - Г. К.).

В данном случае показательны и сохранившиеся фрагменты второго тома “Мертвых душ”, созданные в 1848-1849 годах, в иную историческую эпоху, нежели поздние 1830-е годы, когда писалась первая часть поэмы. В конце 1840-х годов события в Европе - ускоряя процессы модернизации на Западе и усугубляя экономическую отсталость России - радикально усиливают идеологические идиосинкразии Гоголя. Отсюда парадоксальным образом вытекает гипертрофированный экономический колорит фрагмента, рассчитанного мной с помощью “семасиометрического” метода, который я прежде использовал при анализе “Братьев Карамазовых”^[5]: если экономическая тема (отношения собственности, управление усадьбой, торговые операции и т. д.) в первых двух главах позднейшей редакции поэмы занимает значительное место, соответственно 5 и 6,74 процента текста, то в третьей главе она подскакивает до 39,23 процента и принимает совершенно несвойственный для повествовательного произведения масштаб, в четвертой главе даже поднимаясь до 45,37 процента. В первых двух главах экономическая тема не замещает собой описательные части и интригу (дела Тентетникова), ограничиваясь лишь определением общего развития сюжета, как это случалось в первой части поэмы; то же происходит и в части третьей главы, посвященной Петуху.

Однако когда мы имеем дело с фрагментами, связанными с Костанжогло, то экономический показатель становится абсолютно доминирующим: 54,43 процента текста в частях, где действие происходит в имении Костанжогло (третья глава) и 64,67 процента в сцене четвертой главы, которая разворачивается в поместье мота Хлобуева. Такие процентные показатели означают, что когда в действие вступает Костанжогло - а речь идет об 1/3 текста четырех глав - повествование как бы прерывается: нет заинтересованности в последовательном развитии характеров, негде и некогда развертывать какой бы то ни было сюжет, даже такой слаборазвитый, как вообще в “Мертвых душах”; художественное повествование заменяется своего рода политэкономическим трактатом, выраженным в архаичной форме разговора учителя и ученика (для сравнения напомним, что в “Братьях Карамазовых”, романе, где тема денег занимает центральное место, этот мотив редко превышает 10 процентов).

Еще до начала наставлений суть гоголевской экономической доктрины

представлена в небольшой сцене, в которой в поэму вводится Костанжогло. В первой редакции Костанжогло (или Скудронжогло) возвращается домой в сопровождении двух простолудинов, социальный облик которых Гоголь немедленно уточняет: “Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха” (5, 280-281). Первый мужик хочет продать “материал”, решительно Костанжогло не нужный, в то время как второй намерен купить “товар” у Костанжогло, но его не устраивает цена; Костанжогло нехотя, “только из жалости” удовлетворяет просьбу первого ходатая, однако с зажиточным собеседником он ведет себя более стойко:

“- Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость... посбавьте, - говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке.

- Ведь я тебе на первых порах объявил. Торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять: я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мне в ломбард не нужно уплачивать...

- Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с... оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять.

Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука. Гм, - подумал Чичиков, - точно как бы носовой платок!” (5, 281. Разрядка моя. - Г. К.).

Речь идет о весьма любопытной сделке: Костанжогло покупает ненужный ему товар и - также не имея в том нужды - продает товар совершенно незаинтересованному покупателю... Впрочем, до трезвого политэкономического расчета нет дела ни персонажу, ни автору: Гоголь старается здесь показать систему экономических связей, ограниченную простым обращением товара - покупкой ради продажи - как средства, ведущего к конечной цели, лежащей вне самой сферы обращения, то есть ради реализации голой потребительной стоимости товара, ради удовлетворения первичных нужд. В описанной сцене обращение имущества, кроме прочего, стимулируется нравственным порывом, поскольку Гоголь подчеркивает бесполезность покупок и продаж, по крайней мере, для двух контрагентов из трех (по-настоящему выигрывает в данном случае самый бедный и слабый, то есть простой мужик). Гоголь возрождает - разумеется, виртуально - натуральное хозяйство, наподобие закрытых и самодостаточных *curtes* раннего западного средневековья. Однако до отрицания денег он не доходит: будучи не в силах сделать так, чтобы продукты труда оставались привязанными к их потребительской стоимости и не становились собственно товаром, то есть предметом обмена, наделенным меновой стоимостью, Гоголь пытается “очистить” сам процесс обмена, лишив его участников возможности достижения прибыли (так, чтобы парадоксальным образом меновая стоимость оставалась равной потребительской). В позднейшей версии этого фрагмента обмен исчезает вовсе и заменяется чистого рода апологией рабовладельческих отношений: крестьянин ничего не продает Костанжогло, но предлагает себя самого и свою общину как товар, получая уклончивый ответ (5, 394-395). Компенсаторный призрак, не замешанный на прибыли обмена, заменяется его

реальным прообразом, то есть описанием того, что есть в действительности: крепостное право, основанное не на экономической, но на принудительной зависимости.

В мире Костанжогло имеет место лишь вещественный обмен продуктами труда: товар - деньги - товар (Т-Д-Т), цепь отношений, лишенных возможности заработка и защищающая очищенный от эгоизма и корысти патриархальный микромир. Одновременно здесь полностью отсутствует денежное обращение в форме капитала (Д-Т-Д) и вообще какая-либо деятельность, создающая прибавочную стоимость. Согласно доведенной до абсурда физиократической логике, увеличение богатства есть плод исключительно земледелия, и деньги, которые можно за эту работу выручить, имеют второстепенное или даже нерелевантное значение. Власть денег искореняется: любая форма обращения товара, обладающего прибавочной стоимостью (типа мануфактур - или вообще всякая развитая форма производства, допускающая свободный труд и открытый рынок), - это пагубный “товарный фетишизм” и является первым шагом к коллапсу всей системы, как это доказывает пример трех помещиков, обреченных на разорение, - Кошкарева, Петуха и Хлобуева. Естественно, что, едва деньги и товары начинают циркулировать вне помещичьей усадьбы, тем самым втягивая ее в торговые отношения с внешним миром (отношения, которые в случае Кошкарева сублимируются через культурное преклонение перед Западом), процесс искоренения власти денег прерывается, вновь возникает капитал, а “хозяин” перестает быть таковым и погибает вместе с упорядоченным и охраняемым им миром.

Как и относительно денег, Гоголь прекрасно знает, что мануфактуры сами по себе незаменимы, однако он сводит их значение к минимуму. В имении Костанжогло они “сами завелись[!]”, как чистое средство для обработки лишнего материала: “...накопилось шерсти, сбыть некуда, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают[, - мужику надобные, моему мужику]. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжение шести лет сряду [промышленники]; ну, куды ее девать? Я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так” (5, 289).

Дополнения, сделанные в поздней редакции и приведенные в квадратных скобках, не только уточняют экономическую терминологию (указание на рыбных “промышленников”) и усиливают ее эмоциональный компонент (восклицательный знак), но и недвусмысленно подчеркивают, что рынок ремесленных товаров, произведенных у Костанжогло, является рынком самих его крестьян.

Учитывая полную замкнутость проанализированного экономического процесса, остается неясным, где и каким образом крестьяне могли накопить достаточное количество денег для покупки у их собственного хозяина сукна и клея на 40 тысяч рублей, однако логика политэкономии не интересует ни Гоголя, ни Костанжогло: их задача - ограничить денежное обращение (которое невозможно ни уничтожить полностью, ни сократить ниже определенного предела) закрытым пространством аграрно-крепостной экономики. Ни 40 тысяч рублей, ни задаток купца, разумеется, не существенны для Костанжогло, они даже походят на своего рода захваченный вражеский флаг, быстро и с безразличием спрятанный в карман: “как бы носовой платок”, по замечанию Чичикова, - лишние силы и обезвреженные, деньги вскоре инвестируются в полезные для натурального

хозяйства операции, неважно, со стороны крепостных или их хозяина.

Завороженный обаянием “хозяина”, но по-прежнему неспособный понять всех лежащих на глубине экономических мотиваций, герой “Мертвых душ” опять думает, что конечная цель заключается в накоплении денег: “Экой черт! [[...]] загребистая какая лапа”, - замечает Чичиков. Как во всяком ритуализованном наставительном диалоге, подчеркнутая тупость ученика служит поводом для однозначного изложения фундаментальных идей учителя: “Да я и строений для этого не строю, - уточняет Костанжогло по поводу своих “промышленных объектов”, - у меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не вышисываю из заграницы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год, все пришлые, из куска хлеба. Этих фабрик наберется много. Рассмотрите только попристальнее свое хозяйство, то увидишь - всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только да говоришь: не нужно” (5, 289). В поздней версии уточнялось, что голодные годы наступали “по милости этих фабрикантов, упустивших посевы” (5, 402) и остававшихся во власти пагубных форм производства и/или обращения товара.

Основная мысль здесь вновь прозрачна, но Чичиков остается в плену у денежного фетишизма: “Это изумительно! - твердит он. - Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход!” Между тем Костанжогло уже перешел к критике различных форм “донкишотства”, бывших в ходу у его соседей-помещиков: школ, больниц, товарного потребления и всякого элемента модернизации, разрушающего гармонию натурального хозяйства. Инвектива достигает своего апогея в восхвалении сельского хозяйства, перевыполняющего экономический план, а затем переходит в область универсальной этики: “Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить Бога. Да хлебопашцы для меня всех почтеннее [- что вы его трогаете?] Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы” (5, 290). И в этом случае позднее дополнение усиливает выразительность высказывания: между прочим, аграрный редуционизм имел в России прочную традицию начиная с работ М. Швиткова (1800-е годы), и в будущем он еще покажет себя (А. Тенгоборский в 1850-е годы), однако у Гоголя он как бы возводится напрямую к Аристотелю и его пропаганде сельского хозяйства как единственной формы подлинного производства, сообразной природе, находящейся в жестких рамках рабовладельческой патриархальности. Подобная схема наличествует и у Плутарха, в описании жизни Ликурга, который резко сокращает пределы денежного обмена, чтобы спартиаты занимались исключительно войной и общественными делами; разумеется, подобный строй возможен лишь при усиленной эксплуатации труда рабов-илотов^[6].

По обыкновению, Чичиков усматривает в словах Костанжогло лишь указания на способы скорого обогащения: “Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее [доходливей] заниматься?” Однако на сей раз Костанжогло не дает повода для сомнений: “Законнее, а не то что выгоднее [доходнее]” (5, 291. Разрядка моя. - Г. К.). Экономические отношения между индивидуумами являются не результатом скрещения личных, конкретных выгод, а частью божественного плана, и не подлежат никакой эволюции: “Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основанье быта общественного, там изобилье и

довольство; бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю, сказано человеку, трудись... что тут хитрить!” В очередной раз Гоголь подчеркивает бескорыстие и солидарность, которые управляют этим замкнутым девственным микрокосмом: “Я говорю мужику: “Кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега... Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись [...] Я затем над тобой, чтобы ты трудился”. Гм! Думают увеличить доходы заведениями да фабриками! Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так ты и сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без глупых затей” (5, 291). Антикапиталистическая тенденция подчеркнута в более поздней версии поэмы и касается даже таких “невинных” товаров, как сахар и табак:

“Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю - не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество - вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики - того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыту употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед богом прав... Я двадцать лет живу с народом; я знаю, какие от этого следствия” (5, 403) [7].

Чичиков, однако, не понимает слов Костанжогло и возвращается к своей навязчивой идее: “Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, что> и всякая дрянь дает доход”. В ответ на это Костанжогло вновь педантирует тезис о сакральности натурального хозяйства и призрачном характере денег: “А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход. Да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги, - деньги деньгами, - но потому, что все это - дело рук твоих; потому, что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на всё” (5, 407. Разрядка моя. - Г. К.). Обезвредив и изгнав деньги, нейтрализовав меновую стоимость товаров, Гоголь описывает, каким образом труд, прежде “сгущенный в деньгах”, растопляется вновь, возвращается на землю в виде манны небесной и преобразовывает ее согласно божественному промыслу, то есть традиционную форму закрытой и самодовлеющей сельскохозяйственной общины; “общественный иероглиф”^[8], в котором меновая стоимость скомкает любой продукт труда, вновь развертывается в гармоничную цепь первобытных социальных отношений. Влекомый проповедническим пафосом, Костанжогло преображается: “...лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он [весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица]. - Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения! Здесь, именно здесь подражает богу человек: Бог предоставил себе дело творенья, как высшее [всех] наслаждение, и требует от человека также, чтобы он был [подобным] творцом благоденствия и стройного течения дел [вокруг себя]” (5, 294, 407).

Разумеется, Чичикову не удастся избежать влияния столь харизматической личности, однако его природа диктует ему два разных пути: спасительный, предполагающий, что он сделается помещиком по примеру Костанжогло, и пагубный, предусматривающий, что Чичиков будет упорствовать в обогащении через спекуляции или даже преступления. Чичиков обдумывает приобретение поместья Хлобуева, и когда Костанжогло - верный своему безразличию к деньгам - одалживает ему “с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства - просто под одну расписку” (5, 411), наш герой находится перед выбором:

“Можно было поступить и так, чтобы заложить имение в ломбард, прежде выпродав по кускам лучшие земли. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком по образцу Костанжогло, пользуясь его советами как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные руки имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег, взятых у него займы” (5, 421).

Последний путь - Гоголь сразу же намекает на это - напрямую внушен Чичикову дьяволом. Как известно, второй том “Мертвых душ” - сродни политэкономическому Чистилищу - должен был проиллюстрировать именно постепенное и болезненное освобождение от денежного фетишизма, возвращение к натуральному хозяйству как первому шагу к воссоединению с Богом и возрождению первоначального порядка согласно присущим ему законам. Деньги, как следует из рассуждений Гоголя, должны-де существовать и где-то циркулировать, но в некоем замкнутом пространстве, вне контакта с возрожденной “натуральной” ойкуменой, как бы на другой планете: отсюда денежные потоки, текущие к откупщику и миллионеру Муравову таким образом, что - как провозглашает Костанжогло - “скоро половина России будет в его руках” (5, 295, 409). Гоголь не объясняет и не может объяснить, как именно одна половина России, переполненная муравовским капиталом, может оставаться четко отграниченной от другой части страны, где доминируют Костанжогло, не поглотив ее безжалостно и беспощадно, как то предполагает азбука политической экономии.

Таким образом, деньги, однажды изъятые из капиталистического обращения и очищенные от их смертоносных качеств, вновь становятся объектом законного накопления: “...непременно разбогатеете, - предсказывает Костанжогло Чичикову, намеревающемуся стать помещиком, уже не видя в этом ничего плохого. - К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы” (5, 297, 410). Этот пассаж напоминает советы, которые в “Выбранных местах” Гоголь раздавал русскому помещику: сначала сжечь несколько купюр перед крестьянами, “чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб” (6, 104. Разрядка моя. - Г. К.); затем, подтвердив данное наставление соответствующей цитатой из Библии и приведя таким образом управление собственным имением в соответствие с непреложными божественными законами, помещик “разбогатеет как Крез” (6, 109. Разрядка моя. - Г. К.), изначально принесенные в жертву деньги возвратятся вкупе с солидными процентами. Беспристрастному критику очевидно глубокое чувство социальной неуверенности, толкающее Гоголя к столь противоречивому подходу к данной теме: полностью заключать деньги внутрь системы натурального хозяйства или

полностью исключать их из этой системы; уничтожать (жечь) деньги, унижать их (засовывать их в карман как носовой платок) или же накапливать колоссальное их количество (“золотые реки”, “Крез”)... Одержимость деньгами порой принимает гротескные формы. Чувство экономической неуверенности выражается с крайне агрессивной интонацией проповедника: Костанжогло осыпает воображаемых противников (экономистов, помещиков-“западников”) оскорблениями, граничащими с непристойностями, четыре раза “плюет” на землю при их упоминании; не менее грубым часто является и язык Гоголя в “Выбранных местах”, когда автор призывает своего собеседника “плевать” на того, кто ставит под сомнение крепостное право во всей его неприкосновенности, и желает, чтобы другой его собеседник, имеющий смелость изучать политическую экономию, был бы публично бит по щекам (6, 104, 129): “Юпитер-Гоголь сердился кой-где, - замечал Тургенев касательно общего тона второго тома “Мертвых душ”, - стало быть, был виноват”^[9].

В исследовании о Гоголе А. Белый с предельной точностью формулирует разные стороны “социологии” “Мертвых душ”, но напрасно приходит к выводу, что Костанжогло, Муразовы и, почему бы нет, - Чичиковы представляли собой прото-буржуазию, умеющую зачинать эволюцию капиталистических отношений в России на развалинах крепостного права. Цели Гоголя - диаметрально противоположные. Противоречия, в которых Гоголь путается, когда пытается определить свой положительный идеал, неразрешимы, поскольку точно соответствуют противоречиям, давно зреющим в русском социальном контексте; идеология Гоголя - это продукт данного контекста, так же как и шаткое равновесие между противоборствующими экономическими струями, все меньше и меньше совместимыми: эта идеология делает возможным лишь один выход из порочного круга - внутрь системы. Образ Костанжогло - это единственная попытка выработать одновременно этически привлекательную и практически осуществимую модель на основе идеализации способа производства и обмена, уже ставшего архаичным: тем не менее данная попытка не работает и не может работать, именно поэтому Гоголь отдает сначала деньги, потом поэму и, наконец, самого себя на суд Божий.

г. Пиза

СНОСКИ

[1] *Carpi G.* Appunti per una storia sociale della letteratura russa // Gli studi slavistici oggi in Italia. Atti del IV Congresso Italiano di Slavistica (20-23 settembre 2006) / R. De Giorgi, S. Garzonio, G. Ziffer (A cura). Udine, 2007; *Carpi G.* Letteratura, ideologia e contraddizioni socioeconomiche in Russia. 1825-1861 // Studi slavistici. 2007. № 4.

[2] См., например: *Бурдые П.* Поле литературы // НЛЮ. № 45. 2000.

[3] *Белый А.* Мастерство Гоголя. М.: ГИХЛ, 1934 (reprint: Mtnchen, 1969). С. 156.

[4] *Гоголь Н. В.* Собр. соч. в 9 тт. Т. 6. М.: Русская книга, 1994. С. 29. Далее номера тома и страницы этого издания приводятся в тексте.

5 Карпи Г. “Деньги до зарезу нужны”: темы денег и мизантропии в “Братьях Карамазовых” (опыт статистического анализа) // *Philologica*. 2006-2008. Т. 9. № 21-22 (в печати). Подбор и маркировка семантических полей основаны на непосредственной экзегезе исследователя, который тем не менее обязан придерживаться известных ограничений, трезво указанных в свое время Ярхо: “Идея должна быть *expressis verbis* выражена в тексте произведения: только тогда можно сказать, что она в нем наличествует. Выводить ее путем произвольной экзегезы - бесплодное занятие” (*Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 123). Текст маркируется по простым предложениям: выделено будет каждое простое предложение, эксплицитно касающееся выбранных тем. Отобранные предложения и периоды можно “взвешивать” по простым предложениям, по лексемам (словам) или по графемам (по печатным знакам).

[6] См.: *Aristoteles*. *Oecon*. I. § 1-6; *Plutarchus*. *Vitae parallelae*. Λυκοῦργυ. § 8-9.

[7] Близким гоголевской установке будет - правда, в совершенно других условиях - Достоевский, со своей поздней теорией об “угрюмой экономике” и с присущей его романам сильной корреляцией денежного фетишизма, с мизантропическими влечениями или с “темой агрессии (разрушения или саморазрушения)” (определение М. Шапира). См.: *Carpi G.* *Verso Raskol'nikov. Dostoevskij fra letteratura e politica*. 1856-1865. Pisa: Tipografia Editrice Pisana, 2008.

[8] *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 47. М.: Политиздат, 1974. С. 84 (Капитал. Т. 1. Кн. 1).

[9] Письмо П. В. Анненкову от 19 октября 1853 года // *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 2. М.: Наука, 1987. С. 267.

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: zhz@russ.ru
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)